



Артур Мёллер ван ден Брук

Третий Рейх

1922 год

I

Третья партия желает Третьего Рейха.

Она — партия преемственности немецкой истории.

Она — партия всех немцев, желающих сохранить Германию для немецкого народа.

Немцы из всех партий здесь воскликнут: и мы хотим того же! Охотно вам верим. Но мы слишком хорошо знаем, что каждый из вас при этом думает о Германии как принадлежности своей партии, желая обустроить ее жизнь по меркам собственной партийной программы.

Вы поднимаете свои знамена и хотите навязать их стране. Вы приходите с красным знаменем, а оно — лишь дразнящее полотно цвета крови без Духа. Оно не сможет стать нашим знаменем, даже если вы украсите его серпом и молотом и пятиконечной звездой. Или же вы развернули черно-красно-золотистое знамя, которое прекрасодушием романтиков было однажды приписано нашему Первому Рейху. Но оно давно утратило тот золотистый блеск, которым его снабдила буйно-мечтательная молодость. Или вы до сих пор привержены черно-бело-красному знамени нашего Второго Рейха, которое реяло в согласии с державной идеей покорения мирового океана еще до того, как была освоена суша. Но мы пережили день, когда это знамя, более других наших знамен овеянное славой, погрузилось в водовороты Скапа-Флоу.

Сегодня над Германией развевается только одно знамя, которое есть знак страдания, тождественный нашему бытию: одно-единственное знамя, которое не терпит рядом с собой другие цвета и отбирает у людей, идущих под его мрачной сенью, всякую охоту к пестрым вымпелам и радостным штандартам: только черное знамя нужды, унижения и крайнего ожесточения, явленного в сдержанности, чтобы не стать отчаянием — стяг смятения мыслей, кружащих днем и ночью подле судьбы, уготованной нашей безоружной стране сговорившимся против нее миром — стяг сопротивления мужей, не желающих смиренно принимать дело уничтожения, которое должно начаться с расчленения страны и закончиться истреблением нашего народа — стяг выступления немцев, желающих спасти нацию и сбечь Рейх.

II

Сегодня это стремление не называют консервативным. Его называют националистическим.

Но это стремление направлено на сохранение всего, что достойно в Германии сохранения. Это стремление сохранить Германию ради Германии. И оно вполне осознанно.

Национализм не заявляет, как это делает патриотизм, что все немецкое достойно сохранения уже потому, что оно — немецкое. Для националиста нация не есть самоцель, стоящая перед нами с прошлых времен: ясная, зримая и уже осуществленная.

Национализм всегда направлен на будущее нации. Он консервативен, ибо знает, что нет будущего без укорененности в прошлом. И он политичен, ибо знает, что может

быть уверен в прошлом, как и будущем, лишь в той мере, в какой он обеспечивает уверенность нации в настоящем. Если бы мы ограничили рассмотрение немецкой истории лишь прошлым, то были бы очень близки к представлению о том, что она отныне завершена. Нигде не написано, что народ имеет право на вечную жизнь и что он может сослаться на это право ради жалкого настоящего, в котором все еще хочет иметь свою долю. Для всех народов наступает час, когда они умирают или кончают самоубийством. И нельзя представить конец для великого народа более великолепный, нежели гибель в мировой войне, которая заставит напрячься весь мир для того, чтобы справиться с одной-единственной страной.

Национализм понимает нации исходя из их предназначения. Он понимает их исходя из антагонизмов между народами, каждому из которых он направляет собственное послание. Немецкий национализм является на свой лад выражением немецкого универсализма. Он направлен в первую очередь на европейское целое, но не с тем, чтобы, как выразился зрелый Гете, «рассеяться во всеобщем», а для того, чтобы утвердить нацию как нечто особое. Он есть выражение немецкой воли к самосохранению и скорее проникнут переживанием, отмеченным у позднего Гете, говорившего, что искусство и наука суть все же лишь «печальное утешение», не способное заменить «гордого сознания принадлежности к сильному народу, которого все уважают и боятся». Романтический национализм думает лишь о себе. Немецкий национализм мыслит себя в связях. Он мыслит себя в перемещении центров тяжести истории. Он хочет сохранить немецкое не потому, что оно является немецким, что, как мы видели, вполне могло бы означать желание сохранить минувшее. Он в гораздо большей степени желает сохранить немецкое в становящемся, в возникающем вокруг нас, в революционных преобразованиях восходящей эпохи. Он желает сохранить Германию потому, что это — срединный пункт, потому, что лишь из него Европе удастся удерживать себя в равновесии — и именно отсюда, не с Запада, куда Паннвиц задним числом перемещал творческий центр нашего континента, и не с Востока, которому Шпенглер, упреждая события, отдал право наследования. Национализм желает сохранить немецкую сущность не для того, чтобы затем от нее отказаться, как советуют слабаки из партии космополитов, эти вырожденцы и отбросы расы; и не для того, чтобы поменять ее на некое «наднациональное образование», с которым Ферстер, этот продукт вырождения немецкого идеализма, связывает доверчивую надежду ослабевшего рассудка на новое превращение «страны европейской середины» в центр той «человечности», которую отщепенец все еще видит сохраненной у французов. Национализм желает сохранить немецкое для того, чтобы дать нации осознать задачу, которая еще вытекает для нее из этой немецкой сущности, и которую у нее не оспорит ни один другой народ.

Это наша старая и вечная задача, в которой снова и снова находят свое продолжение задачи австрийская, прусская и бисмарковская. Мы теперь окончательно узнали, что можем служить этой задаче, лишь обратившись на Восток и имея свободный тыл на Западе. И сделаться свободными есть наша ближайшая и истинно немецкая задача, оставшаяся нам после смут нашей западнической революции. Ферстер называет Бисмарка недоразумением немецкой истории. Но Бисмарк, который был основателем Второго Рейха, будет еще, сверх своего творения, основателем и Третьего Рейха.

Консерватизм, отвечавший государству ради государства, подходил к проблеме национальности слишком просто. Поэтому он потерпел крах.

Патриотизм, в духе которого мы были им воспитаны, мнил себя способным объяснить

национальность исходя уже из той страны, в которой человек рожден, и из того языка, на котором он говорит. Но этого было недостаточно.

Немцем является не только тот, кто говорит по-немецки, кто родом из Германии или же обладает ее гражданством. Страна и язык являются естественными основаниями нации, но свою историческую самобытность нация приобретает через ценности духовной жизни людей ее крови. Жизнь в осознании своей нации означает жизнь в осознании ее ценностей.

Консерватизм нации стремится сохранить ее ценности: путем сбережения традиционных ценностей, поскольку они поддерживают в ней силы роста — и путем привлечения всех новых ценностей, поскольку они умножают ее жизненные силы.

Нация есть ценностная общность. И национализм есть ценностное сознание. Народы, обладавшие в качестве наций ценностным сознанием, защищали в мировой войне не только свой язык и свою страну, но — свою культуру. И мы были ими побеждены, поскольку, хотя и были сильны в государственной и, следовательно, в военной областях, то есть во всем, что должно защищать, но были чрезвычайно слабы во всем, что должно быть защищено. В конце концов, мы думали, что если и проиграем войну, то ее проиграет лишь государство. И только сейчас мы понимаем, что войну проиграла нация. Исходя из консерватизма, который изменил направление воли и устремил ее с охранения ради государства на охранение ради нации, мы должны сказать о том, чего не достиг наш патриотизм, а также о том, что значит национализм в настоящем и что он означает для нашего будущего.

В нашем Первом Рейхе мы обладали сильным ценностным сознанием. Мы связывали с ним глубокие и мощные средневековые представления об особом западном предназначении и оставляли за немецкой нацией миссию его христианского и имперского воплощения. Это был Рейх ради Рейха. Мы восприняли от него отважное и высокомерное самосознание, которое, однако, каждый относил преимущественно к собственной персоне. Это самосознание мы ощущали в народе даже тогда, когда Рейх уже рухнул, а мы все еще говорили о нашей некогда знаменитейшей нации.

Мы были слишком аполитичными, чтобы относить это самосознание ко всей общности. Князья, которые были к этому призваны, рано выработали собственное самосознание, но оно шло на пользу лишь жителям отдельных государств. Нации же, напротив, не было дано то национальное самосознание, которое основывалось бы на общих для всех ценностях, а значит, позволило бы ей утвердиться в качестве политической общности. Отсутствие такой общности порой остро переживалось отдельными немцами, жившими в осознании этих ценностей и шедшими таким образом к пониманию предназначения своей нации. И тогда они пытались наполнить ее ценностным сознанием в той же мере, в какой им были преисполнены в те времена испанцы, французы и англичане. Но те же немцы, обретшие национальную идентичность из опыта жизни на чужбине и международных антагонизмов, оставались совершенно непонятыми у себя дома, когда призывали к такому обретению свой народ.

Здесь кроется причина того, почему немецкие националисты всегда оставались на обочине жизни, почему они не воспринимались нацией и почему их усилия оказывались втуне — вплоть до сегодняшнего дня. Людям было не до них. Люди занимались своими профессиональными и хозяйственными делами. И государство во имя государства заботилось о том, чтобы они могли заниматься этим спокойно. За это

оно требовало послушания и благодарности. Патриотизм, которому оно учило своих подданных подобно тому, как классный наставник учит сельских детей, был долгом, который оно на них налагало. Националисты, напротив, являлись для такого патриотизма помехой. О них вспоминали лишь во времена бедствий. Но никогда им не позволялось стать тем, чем они должны были быть: вождями нации. Государство хотело по возможности делать само и ради себя то, что эти немцы страстно хотели делать сами и во имя нации. Те, кто оправдывал это государство ради государства, конечно, чувствовали пустоту, которое оно оставляло в людях, хотя, сами, привыкнув во всем полагаться на государство, они вряд ли ощущали ее как таковую. И тогда государство попыталось заполнить эту пустоту ради сохранения прежнего отношения к себе своих подданных. Оно ощутило потребность духовно оправдать привычку своих граждан относиться к нему патриотически. И оно действительно оправдало ее при помощи закона и религии. Государство оперлось на трон и алтарь. Вначале оно сослалось на таинство, скрытое за этими двумя понятиями. Оно сослалось на монархический порядок в мире, за который ручается первое из них, и христианский миропорядок, которому порукой второе. Оно сослалось на правовую ответственность за жизнь людей, которая происходит от монархии, и духовную ответственность, которая происходит от христианства. Оно сослалось на оба представления так, что обе сферы оказались объединены: отечески земное дополнилось отечески небесным и создано единство, на которое и оперлось государство. Трон и алтарь ручались за постоянство земных дел согласно надвременным установлениям. И государство было их поверенным.

Но с течением времени все это выветрилось из обоих понятий, выветрилось это и из патриотизма. И данные понятия тоже стали привычкой, а потому потеряли свое предназначение. Они стали формулами, лишенными того содержания, которое должны были дать людям. Они стали обыденностями, с которыми, пожалуй, еще можно жить в условиях мира, но которые не подвергают людей испытанию. Однако им самим пришлось подвергнуться испытанию чрезвычайной ситуацией, которое народ как нация, в конечном счете, не выдержал.

В результате монархический порядок исчезал из мира. Он иссякал уже в личностях, попадавших на престолы, и иссякал задолго до того, как потеря корон удостоверяла их вовсе не монаршую, но самую обычную человеческую сущность. Лишь поэтому стало возможно, что народ позволил им пасть, что он не сплотился в поддержке их во имя символа, в который еще продолжал верить, что он не держался с привычной верностью до конца рядом с ними, как представителями этого символа. Но и только так стало возможно, что эти представители монархического порядка закончили как самые простые обыватели, отринутые во всеобщую трагедию без трагики и перешедшие из средоточия таинства в банальную частную жизнь.

В христианском миропорядке произошли похожие перемены. И хотя они не были столь катастрофично очевидными, здесь, подобно тому, как монархи утратили связь с народом, была утрачена связь с общиной. И следствием было растущее отчуждение от церкви, отчуждение, которое поначалу имело так же мало общего с атеизмом, как отчуждение от монархии — с антипатриотизмом. Но уж если трон не поддержал государство, то алтарь не мог поддержать его тем более. Государство потерпело крах само в себе: в той опоре, которую оно воздвигло и подперло подсобными понятиями, в тех основах своего ложного расчета, который позволял ему полагать, что нелюбимый им «национализм» даст себя заменить усердно выпячиваемым

«патриотизмом». Однако время и история положили этому государству конец. Осталась лишь нация: только из нее может выйти новое таинство любви к отечеству. Рухнувшее государство сделало под конец патриотизм предметом нашего образования. Но уже в крахе немецкого образования в девятнадцатом веке вообще и в его крахе в вильгельмовскую эпоху особенно, когда оно все больше подчинялось целям карьеры, социального престижа и экономической выгоды, давал себя знать неизбежный провал также и патриотического образования. Из руин, грозящих похоронить нацию вместе с государством, ныне восстает высвободившееся встречное движение сопротивления — консервативно-революционное движение национализма. Оно хочет жизни нации. Оно хочет того же, что хотело старое государство и что должно хотеть каждое государство. Но оно хочет получить это не в абстрактных понятиях, а в переживании. Оно хочет наверстать то, что было упущено: сопричастность нации к ее предназначению.

Мы славили демократию — не жалкую демократию «общественных» народов, но великолепную демократию государственного народа — за то, что она означает участие нации в ее судьбе — деятельное, энергичное, ответственное политическое участие. И мы распознали в пролетариате стремление приобщиться к тем ценностям, которые до сих пор оставались достоянием других сословий. Демократическое, в том числе пролетарское участие составляет ту сопричастность, которую национализм пытается установить в нации и для нации. Однако национализм отличается от самовосприятия как формальной демократии, так и классово сознательного пролетариата прежде всего тем, что его движение исходит исключительно сверху, но не снизу. Сопричастность предполагает осознание, а именно осознание тех ценностей, к которым нация должна стать сопричастной. Внушить это осознание никогда не удастся, если навстречу ему не будет направлено стремление снизу. В этом смысле национализм хочет проникновения в низы. Но само его внушение дается сознанию сверху.

Лишь сознанию известно, что является предназначением нации. Лишь сознание постигает взаимосвязь ценностей нации. Лишь сознание может сказать нации, что принадлежность к ней означает то же, что и принадлежность к ценностной общности. Демократ, все еще склонный к космополитическим установкам, и тем более пролетарий, все еще приверженный интернационализму, часто мечтают о некоей сфере, якобы расположенной поверх языка и страны, в которой, стираясь, исчезают различия между ценностями разных народов. Националист, напротив, исходит из того, что ценности суть характернейшее свойство нации, что они — дыхание ее сущности, которая через них приобретает образ и которая, как и все существенное, имеет центр тяжести, не терпящий перемещений.

Ни в одной другой стране ценности не являются столь загадочными, столь необъяснимыми и непостижимыми, столь разрозненными и в то же время столь цельными, как в Германии. Здесь они подобны то сокровенным признаниям, то диким схваткам миров — хрупкие или могучие, приземленные или возвышенные, вплотную приближенные к действительности или совершенно отдаленные от нее — они нигде более не кажутся воплощением столь полярно несовместимого. Ни в одной другой стране они не соединены столь судьбоносным образом с историей нации: зеркало и лик и трагическая исповедь немецкого человека, сотворившего их среди противоречий этой истории — не для себя, но для нации.

И ни в одной другой стране эти ценности не стремятся в такой степени образовать то

единство, которого мы никогда более не достигали со времен нашего Первого Рейха, которое мы упустили в нашем Втором Рейхе — и которое задано нам для Третьего Рейха, наследующего противоречия немецкой истории, но также и ценности для их воплощения в жизнь.

III

Мы должны иметь силы жить среди противоположностей.

Немецкая история была полна начинаниями, которые затем оказывались обходными путями. Они оборачивались — и до сих пор оборачиваются — нашими противоположностями.

Мы никогда не приходили к одной определенной цели. Мы всегда достигали все наши цели — если их когда-либо намечали — лишь приблизительно, скачками и на какое-то время. И если нам когда-либо удавалось продвинуться к заранее намеченному пункту, мы тотчас вновь и еще более отдалялись от нашей цели. Но мы также всегда наверстывали упущенное, когда намечали себе следующую цель, вместе с которой могли вновь воспринять старую, и которой посвящали восстановленные между тем силы.

Мы были варварами, и мы переняли наследие средиземноморской культуры. Мы были язычниками и стали защитниками христианства. Мы были разрозненными племенами и образовали национальную общность. Мы отреклись от наших богов и последовали за Спасителем. У нас были свои герцоги, и мы избрали себе короля. Мы начинали свою историю с партикуляризма, и мы же стали претендовать на создание универсальной монархии. Мы поставили императора, и мы делились с Римом в господстве над земным кругом. Мы были демократией свободных и аристократией пожалованных леном. Мы признали Рим, мы присягали ему на верность и поддерживали его, и мы должны были, несмотря на это, защищать светскую власть против духовного господства. Наши епископы вели борьбу против папы, а наши князья сопротивлялись своему властителю. Нашими добродетелями были верность и строптивость. Мы переправлялись через Альпы и скакали на Восток. Мы защищали политику гибеллинов, и мы же защищали политику вельфов. Мы были южными немцами и северными немцами. Мы стали мистиками на Западе и пионерами в колонизованной стране. Мы предавали Штауффенов в зените их власти, вступали один за другим под их корону и передали ее, в конце концов, иностранцам. Мы преодолевали распад Рейха земельным суверенитетом, децентрализовались в большом и централизовались в малом. Мы проводили династическую политику и переросли в Габсбургско-испанское государство, над которым не заходило солнце. Мы не создавали себе столицы, но образовали великую городскую культуру. Мы защищали у стен Вены Запад против Востока и допустили на Рейне прорыв нашей западной границы. Мы противостояли распаду церкви и на тридцать лет предоставили нашу страну в распоряжение разных вероисповеданий для их религиозных битв. Наши протестанты боролись друг с другом в лице кальвинистов и лютеран и позволили распространиться контрреформации. Вестфальский мир помешал императорам установить абсолютную монархию и одновременно признал Францию поручительницей немецкого имперского порядка. Князья делили господство над землями, а императорский дом изнурял себя в войнах за наследство. Пруссия

заняла господствующее положение в Германии, но через двадцать лет после Фридриха Наполеон смог продолжить политику Ришелье, направленную против Германии.

Сознание нации просыпалось в стихах и идеях, но Рейх распадался. Немецкий идеализм поднял дух на высший уровень человечности, но народ, исповедующий его, попадал под чужеземное господство. Мы вновь освобождались и тотчас на этом успокаивались. Мы были народом гениев, но мы начинали нашу новую жизнь с пренебрежения Штейном, непризнания Гумбольдта, недооценки Клейста. Мы допустили, чтобы то опережение в духовном развитии, которое мы имели в 1800 г. перед всеми другими народами, было ими наверстано. И мы проводили столетие в разрешении внутринамецких антагонизмов до тех пор, пока окончательно не основали Второй Рейх. «Прусское водительство» и «объединение Германии» стали целями, взаимно перекрывавшими друг друга до тех пор, пока Бисмарку не удалось, наконец, использовать прусскую идею для того, чтобы подчинить немецкой идее любую другую — но тревога за Германию уже омрачала конец его величественной жизни.

Тревога оказалась оправданной. Рейх, основанный Бисмарком, потерпел крах в своей династической основе. Но его творение переживет этот переворот, если он окажется очередным обходным путем, необходимым для окончательного сплочения нации. И теперь настало время напомнить о том, что Бисмарк заблуждался в своих расчетах относительно нации, которые он строил на династической основе. Будучи консервативным человеком, он был озабочен долговечностью своего творения и постоянно взвешивал опасности, грозившие ему извне, как, впрочем, и внутривнутриполитические возможности. И он временами представлял себе ситуацию, в которой «некоторые немецкие династии будут внезапно устранены». Из этого он заключал, что «таким образом было бы невозможно, чтобы немецкое национальное чувство удерживало всех немцев в жерновах европейской политики на основах международного права».

Эта ситуация настала сегодня. Но не наступили последствия. Рейх остался. И если есть еще в Германии уверенность в чем-то, то эта уверенность заключена в чувстве общности всех немцев. Немецкие племена, в которых еще Бисмарк видел препятствие для национального единения, теперь стремятся не друг от друга, а друг к другу. Вероятно, они рвутся за пределы внутренних границ, которыми эпоха суверенитетов когда-то произвольно рассекала и соединяла немецкие провинции, и стремятся к тем племенным границам, в рамках которых найдет выражение их принадлежность друг другу.

Но люди чувствуют теперь прежде всего то общее, что объединяет их как немцев, хотя они и являются в остальном южными немцами или северными немцами, западными немцами или восточными немцами. Проблемы унитаризма и федерализма теряют для них свою злободневность. Баварцы, на партикуляризм которых наши враги в своем неведении возлагали перед войной столько надежд, сегодня являются тем самым племенем, которое с особым пылом выразило идею национального обновления. С другой стороны, в пограничных землях рабочие крепко держатся за Рейх и оказывают всем посулам как французов, так и поляков сопротивление, которое не сломить. Они убеждаются на собственном опыте, что нет того Интернационала, который был им обещан, но есть нация, к которой они все принадлежат. Повсюду вдоль внешних границ немецкие земли разом ощутили себя марками. От этих границ внутрь страны постепенно проникает осознание того, что Германия сама является сегодня сплошной

маркой, против которой разгорается врожденная враждебность народов, пытающихся в продолжение Версальского немирного договора привести к упадку наше немецкое бытие. Именно это делает нас как народ нацией.

Антагонизмы, которые сопровождали нашу историю, все еще дают о себе знать. Даже самые старые, которые мы считали совсем уже отмершими, сегодня вновь воскресают. И есть свой смысл, даже смысл политический, уже в том, что сегодня есть немцы, возвращающиеся в своем сознании к той ранней ступени, которая когда-то стала основой для возвышения Первого Рейха: что есть немцы, ищущие в средневековом, сословном, мистическом и даже в еще более раннем, примитивном и мифическом те начала, которые необходимы для нашего нового возвышения; что есть немцы, предпочитающие после нашего опыта западничества, цивилизации и прогресса культуры древней и первобытной истории; что среди нас есть тут — поклонники Донара, а там — первохристиане и что ни одну из форм у нас не любят искренней и не понимают лучше, чем почти варварскую форму романской эпохи.

С антагонизмами же более позднего времени у нас происходит нечто странное — и особенно с теми, что восходят к политике. Они перестают восприниматься как противоречия. Они исчезают. Однажды в нашей истории, на взлете Первого Рейха, мы уже преодолели антагонизм, который до самых основ расколол нацию. Он выражался в кличе: «Здесь Вельф! Здесь Вайблинг!» Прошли времена, когда этот двойной клич доводил кипение страстей до гражданской войны, и мы уже давно чтим могилы у Палермо так же, как Льва Бранденбургского. Точно также мы должны устранять все антагонизмы, которые несем с собой из нашего прошлого, не пряча, но возвышая их. Сразу же после краха Второго Рейха прусско-немецкая противоположность, жившая до того в подсознании, отошла назад и уступила место сознанию народной общности. Племена ощутили свою особость сильнее, чем чувствовали до сих пор, но в то же время люди, принадлежащие к ним, намного сильнее чувствуют себя немцами, которыми все они являются. Все немцы, так или иначе, являются сегодня — невзирая на границы и таможи — великонемцами.

И еще один, третий антагонизм отступает в наши дни: конфессиональный. Везде находятся немцы, воспринимающие свое вероисповедание уже не как конфессию, которая разделяет, но как религию, которая сплавливает. Везде католики и протестанты, преодолевая исповедальные различия, сближаются друг с другом как немцы: протестанты проникаются католической идеей единой церкви, а католики уже не считают Лютера зачинщиком Просвещения, рационализма и либерализма, но признают в нем последнего великого и истинно немецкого мистика. Мы должны будем иметь силы для того, чтобы не отрицать и не отвергать, но признавать и соединять все противоположности, которые вобрали в себя из нашей истории.

Мы должны будем иметь силы для того, чтобы и сейчас снова быть «Вельфами», исполненными собственного племенного сознания, и в то же время «Гибеллинами», представляющими имперскую идею. Нам понадобятся силы для того, чтобы быть варварами и христианами, католиками и протестантами, южными немцами и северными немцами, западными немцами и восточными немцами. Нам понадобятся силы для того, чтобы быть для самих себя здесь — пруссаками, а там — австрийцами или баварцами, швабами, франками, гессенцами, саксонцами, фризами, и при этом оставаться друг для друга — немцами.

IV

В таком стиле восприятия и мышления заявляет о себе мировоззренческая основа Третьего Рейха. Однако и на его долю еще остается достаточно антагонизмов. На его долю остаются проблемы федерализма и унитаризма, проблема социализма и проблема пацифизма.

Среди них прежде всего федералистско-унитаристская проблема была в корне искажена Веймарской конституцией. Как документ, свидетельствующий о неспособности либералов чему-либо научиться, она была построена на тех самых основах, которые позволили обмануть немецкий народ. Она пыталась увековечить для Германии эти основы, которые наши враги трактуют и используют в свою пользу и в ущерб нам. Она полагала, что именно таким образом, копируя государственные принципы Запада, она «способствует», как в ней записано, «общественному прогрессу». В действительности она настолько же отстала от своего времени, насколько ее опередили чувства людей. Она лишена всякой связи с теми изменениями, которые произошли в немецком народе в результате его становления как нации. Она стремилась ввести единую республику путем параграфов и не заметила, что внутреннее единство образуется в самом национальном теле. Она взяла в качестве основы интермедию революции и положила умозрительные установки между собой и более глубокими силами, которые вновь пробиваются из оборванных корней нашей истории. Она была чисто негативной и сама признавала это, когда декларировала, что «право Рейха преодолевает право земель». Нет! Право не может преодолевать. Право должно действовать. И из этого мы должны вывести, что в Германии право Рейха означает право земель и, наоборот, земельное право означает право Рейха. Нет никакой иной цели кроме государственной: не преобразовывать федеративное государство обратно в федерацию государств, но создавать Рейх, который будет и тем, и другим — Рейх, который снимет противоположности, подняв то и другое на новый уровень. Лишь в таком государстве вместо парламентаризма станет возможно народное представительство нации, в котором ее жизненная сила предстанет как направление воли.

Связь проблемы социализма с нашими историческими проблемами понял Родбертус, когда увидел «перст провидения» в призвании немецкого государства «обратиться также и к социальному вопросу после того, как оно решит вопрос национальный». Среди социалистов эту взаимосвязь слабее всех улавливал Энгельс, когда требовал: «Мы не должны повторять революцию, сделанную в 1866 и 1870 гг. сверху, но должны дать ей необходимое завершение и улучшить ее посредством движения снизу». Революция прежде всего исказила социализм. Лишь из нее вырастает в пролетариате в качестве «движения снизу» то, что мы называем его участием в жизни нации. И это участие должно быть безусловно осуществлено в Третьем Рейхе, если ему суждено иметь в людях прочность: но не только как материальное участие, как того и поныне требует коммунизм, путающий класс с нацией. Социализм не дает осуществлять себя снизу, как предполагает марксизм. Социализм не дает осуществлять себя и сверху, как допускала бисмарковская и вильгельмовская социальная политика. Социализм даст осуществить себя лишь путем сотрудничества низов и верхов, а не путем социализации прибылей, как полагал Маркс, не делавший различий между предприятием и гешефтом. Он осуществится лишь как социализм самого предприятия, основанный на взаимодействии хозяйственного руководства и

трудовой отдачи и устанавливающий равновесие между доходами и запросами.

Однако Интернационал, заповедуя коммунизм, обещал, что и такого социализма не будет нигде в пролетарском мире. Такой производственный социализм может выйти лишь из определенной общности, сплоченной в хозяйственно-политическом, геополитическом и — в значительной степени — национальном отношении. Он возможен как первоначальная хозяйственная форма, соразмерная лишь одному определенному народу, какой бы образцовой она ни стала затем для других народов. После немецкой катастрофы народное хозяйство Германии невольно приблизилось в своем духовном самовосприятии к социализму, понятому именно таким образом. Предприятие в нем все более явственно отличается от гешефта. Будучи хозяйством побежденной и скованной нации, оно не получило ни времени, ни пространства, ни свободы движений для того, чтобы претворить это представление о себе в хозяйственную систему. Немецкий предприниматель приложил все усилия для того, чтобы честно сохранить свое предприятие как производство. Но переход предвоенной капиталистической хозяйственной формы в капиталистическую послевоенную уже подготавливается. Он происходит сначала в духовной сфере, в изменении отношения предпринимателя к предприятию, и он же возвещает о новом взгляде на хозяйство, согласно которому естественные различия между предпринимателем и рабочим могут стать не враждебными, но дружескими, не разрушительными, но основополагающе деятельными.

Проблема немецкого пацифизма очень тесно связана с проблемой нашего наднационального предназначения, которая, безусловно, является самой сложной, самой давней и самой значительной проблемой немецкой истории. Жить не только для себя, но для всех народов, воздвигнуть памятник бессмертия, в котором наше нынешнее бытие останется различимым в самые отдаленные времена и для самых дальних людей: это было сокровеннейшим желанием, которое двигало всеми событиями немецкой истории, которое вело нас через нее подобно тому, как ведет и будет вести все великие народы в их истории — в отличие от малых народов, думающих только о собственном «я».

Величие человека: быть чем-то большим сверх того, что он являет сам по себе.

Величие народа: быть еще чем-то сверх того, что он являет собой и сообщить о себе; обладать еще чем-то, что он может сообщить.

Именно так все великие немцы совершали свой каждодневный труд на земле в осознании той вечности, которой он причастен, и оставляя его плоды после себя.

Им часто даже не приходилось говорить о своей немецкой принадлежности, которая ненамеренно и как нечто само собой разумеющееся была заложена в их творениях, и они могли быть уверены, что немецкий дух будет присутствовать также и в плодах этих творений. Но когда их спрашивали о силе, которой они были обязаны своим творчеством, они заявляли о себе как немцы. И когда их народ находился в опасности, они были на его стороне.

Однако наряду с этим в народе всегда присутствовала своеобразная склонность, не отдаваться, но отдавать, склонность, которой немцы обыкновенно следуют с роковой покорностью, склонность незначительных, но небезвредных идеологов подпадать под образ мыслей других народов, предпочитать иностранные идеи собственным и перебегать туда, где было поднято знамя чужой идеологии. Это те же самые немцы и

идеологи, которые сегодня говорят о наднациональном послании и понимают под ним национальное обезличение — и которые ныне восхваляют такой отказ как нечто чисто немецкое. Это те самые, кто, будучи революционерами, подменяли идею политического мира идеей мира мировоззренческого. Еще и сегодня, после событий на Руре и опыта Рейна и Саара, немецкие коммунисты, привычно агитирующие за доктрину мировой революции, не хотят признать, что идея борьбы классов является национальной не только «по форме», что признавал также и Маркс, но и «по содержанию», что всегда отрицалось марксизмом как буржуазная выдумка.

Фридрих Энгельс говорил о «лакейском духе» у немцев, который мы несем в своем народном характере еще со времен раздробленности, и ожидал, что немецкая революция вытравит его из нас. Он понимал этот дух внутривнутриполитически — как дух поразительной покорности, которую свободный народ более не обязан оказывать князьям, потерявшим свое монаршее величие. Но самым желательным результатом немецкой революции будет, если она заставит нас понимать этот дух внешнеполитически: как дух ложного восхищения, которое мы более не обязаны дарить ни одному народу с тех пор, как десятки их поднялись на нас, а двадцать семь нас обманули — и если этот опыт общения с народами сделает нас смиреннее перед нами самими и высокомернее перед нашими врагами.

Теперь мы являемся народом, который получил предостережение, народом, который извлек из своей истории один единственный опыт. А именно: мы сможем жить ради нашего наднационального предназначения лишь тогда, когда мы как нация будем в безопасности. Все наши ценности возникли в борьбе за духовное самосохранение немецкой нации. И не утверди мы себя как нация политически, мы совершенно не были бы в состоянии обладать чем-то, что смогли бы сообщить другим народам. В противном случае мы были бы разбиты и раздроблены на радость тем же народам. Но, в конце концов, это станет нашим уделом, если наше простодушие будет и впредь оборачиваться верой в европейскую добродетель наших врагов.

Идея вечного мира есть, безусловно, идея Третьего Рейха. Но мир необходимо завоевать, а Рейх — отстоять.

V

Второй Рейх был промежуточным Рейхом. Он рухнул потому, что не имел времени стать традицией.

Тем не менее, немецкий консерватизм хотел сохранить этот Рейх. Он не хотел большего. В этом заключалась его вина. Он не хотел меньшего. В этом заключалась его заслуга. Он хотел бы сохранить форму, в которой нам был дан Рейх Бисмарка. Но эта форма была слишком молодой даже для того, чтобы оправдать немецкий консерватизм. Это была незрелая форма, как внутри, так и снаружи.

Второй Рейх был неполным Рейхом. Он не включал в себя Австрию, которая еще со времен Первого Рейха жила наряду с этим Вторым. Он был малогерманским Рейхом, в котором мы снова можем увидеть лишь обходной путь для того, чтобы достичь Великогерманского Рейха.

В нашем Первом Рейхе мы потеряли некоторые страны с чужими языками — Ломбардию и Бургундию. В конце концов, мы потеряли также и страны нашей собственной языковой и племенной принадлежности — Швейцарию и Нидерланды, а

также поселенческие районы в Прибалтике. Но зато, хотя мы в это время и становились все слабее и слабее, мы все сильнее и сильнее сплачивали остальное.

На протяжении всей нашей новой истории мы заняты работой по расчистке, по устранению границ и дурацких внутренних перегородок, которые оставил на немецкой земле распадавшийся в средневековье Первый Рейх. Мы преодолели мизерность наших государств, которая была выражением нашего бессилия. И мы заменили ее позицией великой державы, которую вернули себе во Втором Рейхе. Мы положили в основу этого Рейха большие немецкие племена и крупные немецкие государства, которым удалось пережить его распад, и малые государства, которые становились в ходе этого распада все меньше и меньше.

Исход мировой войны подорвал положение Второго Рейха как великой державы. Революция принесла развязку. Она не смогла предотвратить ни нашего обнищания, ни разорения четырех наших марок. Она оставила нас в остане государства, чью обкомсанную форму мы не признаем в качестве немецкого Рейха немецкой нации. Она упустила возникшую после разгрома центральных держав великогерманскую возможность и не нашла в себе ни мужества, ни воли и честолюбия, чтобы поставить мир перед свершившимся фактом аншлюса немецкой Австрии. Она была малогерманским бунтом и предписала себе в Веймаре конституцию, федералистско-централистские установки которой не содержат ни того, что положено Рейху, ни того, что подобает землям, племенам и провинциям.

И все же, революция также многое упростила и вновь соединила, устранив внутринемецкие пережитки, которые мы до того тащили с собой в качестве преграды на пути становления в нацию. Она также является немецким событием, которое обретает смысл лишь в своем воздействии. В своем побочном воздействии, которое становится основным, она является насильственным решением тяжелых немецких проблем. Иной внешний повод для подобного решения мы бы так легко не получили. Революция устранила малые немецкие династии, которые исполнили свою культурную миссию. И она подготовила членение Рейха на племена, к которому мы сможем перейти в тот момент, когда вновь станем свободной нацией. И если бы эти вещи произошли лишь на карте страны, это было бы не так важно. Важно, что они происходят также в чувствах людей. Мы потеряли в территориях. Но мы сплотились как немцы. И как немцы мы присягаем Рейху, который должен нам остаться.

Это не заслуга революции. Она действовала без осознания того, что она ответственна не перед партией, а перед нацией. Мы живем в неведении и не имея гарантий против того, что революция, если она будет предоставлена сама себе как восстание аполитичного народа, не окажется началом политического конца немецкой нации. Но мы верим, что и она окажется очередной немецкой бессмыслицей, которая обретает свой смысл задним числом. И она обретет этот смысл в той мере, в какой удастся политизировать немецкий народ, который более не может жить в условиях, созданных исходом мировой войны — политизировать народ, привлекая его к участию в собственной национальной судьбе. Мы верим скорее в то, что эта революция является событием нашей национальной истории — тем, в чем ей отказывают классово сознательные пролетарии, но чем она непременно должна стать в силу своей природной принадлежности стране и народу. И как часть нашей истории она станет всего лишь новым обходным путем, необходимым для того, чтобы мы вырвались из нашей чисто немецкой неподвижности, к которой уже почти привыкли во Втором Рейхе. И мы верим, что этот Второй Рейх был лишь переходом к Третьему, к новому и

последнему Рейху, который нам обещан и ради которого мы должны жить, если хотим жить.

Есть немцы, которые утешают себя в нашем поражении тем, что ценности нации останутся непреходящими и тогда, когда крах государства повлечет за собой ее гибель. Это самый жестокий самообман, на который способны немцы. Насколько слабо мы боролись за нашу культуру, настолько сильно наши враги боролись за свою. И эти враги не хотят нашей культуры. Их народы вообще не понимают наших ценностей. Они, каждый на свой лад, считают себя совершенными в своей культуре. Мысль о том, что они должны будут признать равноценность немецкой культуры, для них невыносима. Они не признают наши ценности. И мы сами не знаем наших ценностей. Из нашей истории видно, что мы всюду отрекались от одних ценностей, чтобы положить начало другим. Это делало немецкую культуру настолько же богатой и разнообразной, насколько она несвязна и труднообозрима. Национализм должен явиться тем связующим и проясняющим началом, которое покажет нации то, что ей принадлежит, поскольку является немецким и представляет ценность: немецкую историю людей.

Это является духовной целью, но в то же время включает в себя и политическую задачу. Если мы погибнем как нация, то, как подсказывает наш опыт отношений с другими народами, погибнет Германия и вместе с ней все, что когда-либо создали немцы. Нет народа, который мог бы нас воспринять.

Народы Запада нас отрицают. Они оценивают все иначе, чем мы, и пасуют перед нашими ценностями. Даже у Клаузевица французский генеральный штаб умудрился найти лишь один «немецкий туман», хотя этот туман уже нередко оборачивался той немецкой ясностью, которая так пугает наших врагов. Когда Антанта давала нам совет, отречься от Потсдама и снова идти в Веймар, она пускала в ход свою самую большую ложь. Народы Запада должны ненавидеть Веймар в принципе неизмеримо сильнее, чем они ненавидят Потсдам. Их замутненный взор видел в Потсдаме всего лишь символ немецкого милитаризма, но признай они Веймар символом культуры, тотчас встанет вопрос об иерархии культур, в которой уровень классики возвышается над уровнем классицизма так же, как Гете возвышается над Расиным. А немецкая культура зиждется не только на Потсдаме и Веймаре, но на каждом немецком городе в пределах той области, в которой действуют немецкие ценности, и которая простирается далеко на восток от Мюнстера и того места, в котором распят на кресте немецкой судьбы Грюневальдский Христос. Правда, народы к востоку от нас берут от немецких ценностей то, что может быть им полезно. Но тот же немецкий язык есть лишь язык международного общения Евразии и Центральной Европы. Он посредничает в тамошних делах, но не затрагивает души. И если он стал языком-посредником Третьего Интернационала, то и здесь он передает лишь потребный делу интернационализм. Он передает лишь то, что принадлежит марксизму, но не тот великий космос немецкой духовности, который расположен перед Марксом, рядом с Марксом и против Маркса, который опровергает Маркса и при этом остается непостижимым. Даже те из русских, которые не отвергают, подобно Толстому, всю Европу, хотят и могут в силу своей национальной принадлежности принять лишь отдельные наши ценности: систематику, философский идеализм, Гегеля и, может быть, Шиллера. Бесконечность немецкого космоса, которая не ограничивается именами, закрыта и для них, потому, что они обладают собственной безграничностью, чуждой нам и, напротив, простирающейся прочь и в сторону от Запада — в Азию.

VI

Немецкий национализм является поборником конечного Рейха. Этот Рейх всегда обещан. И он никогда не исполнится. Он — совершенство, которое будет достигаться только в несовершенстве.

И он есть особое обещание немецкого народа, которое оспаривают у него все другие народы. Они боролись в мировой войне против Рейха, существовавшего ради Рейха, боролись ради мирового господства, в котором мы хотели иметь нашу материальную долю, сочтенную за империалистическое притязание. Каждый из них сам хотел быть не только империей, но и вместилищем латинской, англосаксонской или панславистской идеи. Они уничтожили наш материальный Рейх. И они до сих пор боятся его политической тени.

Но Рейх им пришлось оставить не сломленным. Есть лишь один Рейх, подобно тому, как есть лишь одна Церковь. Все остальное, что претендует на это название, есть государство или община, или секта. Есть только Рейх.

Немецкий национализм борется за возможный Рейх. Немецкий националист нашего времени, будучи немецким человеком, все еще является мистиком. Но как человек политический, он стал скептиком.

Он знает, что осуществление идеи постоянно отодвигается все дальше, что духовность на самом деле являет себя в очень человеческом, а это значит, сугубо политическом, и что нации претворяют возложенные на них идеи лишь в той мере, в какой они утвердили и осуществили себя исторически.

Немецкий националист невосприимчив к идеологии ради идеологии. Он распознал обманчивость громких слов, с помощью которых победившие нас народы приписывают себе высокую миссию. Он узнал, что в окружении цивилизации, которой принадлежат эти народы и которая самодовольно называет себя западной, человек не возвышается, но опускается.

В этом опускающемся мире, который сегодня торжествует победу, он стремится спасти немецкое. Он стремится получить его воплощение в ценностях, которые остались непобежденными, потому что они сами по себе непобедимы. Он стремится обеспечить им долговечность в мире тем, что, борясь за них, восстанавливает тот ранг, который принадлежит им по праву, и — заметим это сейчас, когда ни одно понятие не кажется более сомнительным, чем понятие европейского — когда он борется за все, что, исходя из Германии, имеет европейский охват.

Мы думаем не о той Европе сегодняшнего дня, которая слишком достойна презрения, чтобы ее хоть как-то оценивать. Мы думаем о Европе дня вчерашнего, но также и о том, что может снова спастись из нее для дня завтрашнего. И мы думаем о Германии всех времен — о Германии двухтысячелетнего прошлого и о Германии вечного настоящего, о Германии, которая живет в мире духовном, но желает безопасности в мире действительном, и которая может достичь такой безопасности лишь политическими средствами.

Зверь в человеческом облике крадется к нам. Африка просвечивает через Европу. Мы должны быть часовыми у врат, ведущих к ценностям.